

Проблемы, связанные с памятью о сталинизме в сегодняшней России, болезненны и остры. На прилавках – масса просталинской литературы: художественной, публицистической, квазиисторической. В социологических опросах Сталин неизменно в первой тройке «самых выдающихся деятелей всех времён». Причины тому – и в недостатке практических механизмов такого влияния, и в исторической политике последних лет. Но более всего – в особенностях нынешнего состояния нашей национальной исторической памяти о сталинизме.



Арсений Рогинский,
историк, председатель правления
Международного общества
«Мемориал»,
партнёра Фонда им. Генриха Бёлля

Память о сталинизме

Программное выступление
на международной конференции
«История сталинизма.
Итоги и проблемы изучения»,
организованной Международным
обществом «Мемориал», Госархивом
Российской Федерации, ИНИОМом,
Фондом Первого Президента России,
Уполномоченным по правам человека
и издательством РОССПЭН.

Москва,
5 декабря 2008 г.

Источник:

<http://www.boell.ru/web/103-180.html>

Что я понимаю здесь под исторической памятью и что понимаю под сталинизмом? Вполне общепринятые вещи. Историческая память — это ретроспективная форма коллективного сознания, формирующая коллективную идентичность в её отношении к значимому для этой идентичности прошлому. Она работает с прошлым, реальным или мнимым, как с материалом: отбирает факты и соответствующим образом их систематизирует, выстраивая из них то, что она готова представить как генеалогию этой идентичности.

Сталинизм же — это система государственного управления, совокупность специфических политических практик сталинского руководства. На протяжении всего времени действия эта система, во многом эволюционировавшая, сохраняла ряд характерных черт. Но наиболее специфическая характеристика сталинизма, его родовая черта (возникшая с самого начала большевистского правления и со смертью Сталина не исчезающая) — это террор как универсальный инструмент решения любых политических и социальных задач. Именно государственное насилие, террор обеспечивал и возможность централизации управления, и разрыв горизонтальных связей, и высокую вертикальную мобильность, и жёсткость внедрения идеологии при лёгкости её модификации, и большую армию субъектов рабочего труда, и многое другое.

Отсюда память о сталинизме — это, прежде всего, память о государственном терроре как о системообразующем факторе эпохи, а также о его связи с разнообразными процессами и событиями того времени. Но такова ли память о сталинизме в современной России? Скажу несколько слов о ключевых свойствах этой сегодняшней памяти.

Первое: память о сталинизме в России — это почти всегда память о жертвах. О жертвах, но не о преступлении. В качестве памяти о преступлении она не отрелфлексирована, на этот счёт консенсуса нет. Дело в немалой степени в том, что в правовом смысле массовому сознанию не на что опереться. Нет никакого государственного правового акта, в котором

государственный террор был бы назван преступлением. Двух строк в преамбуле к Закону 1991 года о реабилитации жертв явно недостаточно. Нет и вызывающих хоть частичное доверие отдельных судебных решений — никаких судебных процессов против участников сталинского террора в новой России не было, ни одного.

Но причины не только в этом.

Любое освоение исторических трагедий массовым сознанием базируется на распределении ролей между Добром и Злом и отождествлении себя с одной из ролей. Легче всего отождествить себя с Добром, то есть с невинной жертвой или, ещё лучше, с героической борьбой против Зла (кстати, именно поэтому у наших восточноевропейских соседей, от Украины до Польши и Прибалтики, нет таких тяжких проблем с освоением советского периода истории, как в России — они идентифицируют себя с жертвами или борцами или с теми и другими одновременно; другой вопрос, всегда ли это отождествление находится в согласии с историческим знанием — но мы не о знании говорим, а о памяти). Можно даже отождествить себя со Злом, как это сделали немцы (не без помощи со стороны), с тем, чтобы от этого Зла отмежеваться: «Да, это, к несчастью, были мы, — но теперь мы не такие и никогда больше такими не будем».

А что делать нам, живущим в России?

В советском терроре крайне сложно разделить палачей и жертв. Например, секретари обкомов в августе 1937-го они все, как один, члены «троек» и пачками подписывают расстрельные приговоры. К ноябрю 1938-го половина из них уже сама расстреляна. В национальной и, в особенности, региональной памяти условные «палачи», например, те же секретари обкомов 1937-го года — остались отнюдь не одномерными злодеями: да, они подписывали документы о расстрелах, но они же организовывали строительство детских садиков и больницы и лично ходили по рабочим столовым снимать пробу с пищи, а дальнейшая их судьба и вовсе вызывает сочувствие.

И ещё одно: в отличие от нацистов, которые в основном, убивали «чужих»: поляков, русских, наконец, немецких евреев (тоже ведь не совсем «своих»), мы убивали в основном своих. И сознание отказывается

принимать этот факт. В памяти о терроре мы не в состоянии распределить главные роли, не в состоянии расставить по местам местоимения «мы» и «они». Эта невозможность отчуждения зла и является главным препятствием к формированию полноценной памяти о терроре. Она усугубляет её травматический характер, становится одной из главных причин вытеснения её на периферию исторической памяти.

Второе: на определённом уровне, на уровне личных воспоминаний — это уходящая память. Свидетели ещё есть, но это последние свидетели, и они уходят, а вместе с ними уходит и память как личное воспоминание и личное переживание.

С этим вторым связано и третье: на смену памяти-воспоминанию приходит

память как набор коллективных образов прошлого, формируемых уже не личными и даже не семейными воспоминаниями, а различными социально-культурными механизмами. Не последним из этих механизмов является историческая политика, целенаправленные усилия политической элиты по формированию устраивающего её образа прошлого. Такого рода усилия мы наблюдаем уже с 1990-х годов, когда политическая власть принялась искать обоснования собственной легитимности в прошлом. Но если власть ощущала дефицит легитимности, то население после распада СССР ощущало дефицит идентичности. При этом и власть, и население искали способ восполнить свои дефициты в образе Великой России, наследником которой является Россия нынешняя. Те образы «светлого прошлого», которые предлагались властью в 1990-е годы — Пётр Столыпин, Пётр Первый и так далее — не были восприняты: слишком далеко и слишком мало связано с сегодняшним днём. Постепенно и подспудно концепция Великой России прирастала советским периодом, в частности — сталинской эпохой.

Пост-ельцинское руководство страны уловило эту готовность к очередной реконструкции прошлого и в полной мере её использовало. Я не хочу сказать, что власть 2000-х намеревалась реабилитировать Сталина — она всего лишь хотела предложить своим согражданам идею великой страны, которая в любые эпохи остаётся великой и с честью выходит из всех испытаний. Образ счастливого и славного прошлого был нужен ей для консолидации населения, для восстановления непререкаемости авторитета государственной власти, для укрепления собственной «вертикали» и т. д. Но независимо от этих намерений, на фоне вновь возникшей панорамы великой державы, сегодня, как и прежде, «окружённой кольцом врагов», проступил усатый профиль великого вождя. Этот результат был неизбежным и закономерным.

Два образа эпохи Сталина вступили в жёстко конкурентные отношения друг с другом: образ сталинизма, преступного режима, на совести которого десятилетия государственного террора, и образ эпохи славных побед и великих свершений.

Память о сталинизме

И, конечно, в первую очередь образ главной победы — Победы в Великой Отечественной войне.

Четвёртое: память о сталинизме и память о войне. Память о войне и стала той несущей конструкцией, на которой была переорганизована национальная самоидентификация. На эту тему много написано. Отмечу только одно: то, что сегодня называют памятью о войне, не вполне соответствует названию. Память о тяготах войны, её повседневности, 1941-ом годе, плене, эвакуации, жертвах войны — эта память в хрущёвскую эпоху была резко антисталинской. В то время она органично сплеталась с памятью о терроре. Сегодня память о войне подменена памятью о Победе. Подмена началась в середине 1960-х. Одновременно с конца 1960-х вновь оказалась — на целых двадцать лет! — под запретом память о терроре.

Завершилась же подмена только теперь, когда фронтовиков почти не осталось и корректировать коллективный стереотип личными воспоминаниями некому.

Память о Победе без памяти о цене Победы, конечно, не может быть антисталинской. И поэтому она плохо совмещается с памятью о терроре. Если сильно упростить, то этот конфликт памятей выглядит примерно так. Если государственный террор был преступлением, то кто преступник? Государство? Стоявший во главе его Сталин? Но ведь мы победили в войне с Абсолютным Злом, и, стало быть, мы были не подданными преступного режима, а великой страной, олицетворением всего доброго, что есть в мире. Именно под предводительством Сталина мы одолели Гитлера. Победа — это эпоха Сталина, и террор — это эпоха Сталина. Примирить эти два образа прошлого невозможно, если только не выгнать один из них или, по крайней мере, не внести в него серьёзные коррективы. Так и произошло — память о терроре отступила. Она не вовсе исчезла, но оказалась оттеснённой на периферию массового сознания.

В этих обстоятельствах удивительно, что память о терроре вообще осталась хоть в каком-то виде, что она не превратилась в Великое Национальное Табу, что она всё-таки существует и развивается. Беглому

обзору механизмов и институций, которые формируют эту память, я и намерен посвятить оставшееся время.

Первыми и самыми наглядными свидетельствами памяти об исторических событиях являются памятники, посвящённые этим событиям.

Вопреки распространённому мнению, памятников и памятных знаков, напоминающих о сталинском терроре, в России немало — не менее 800. Устанавливаются они <...> энергией общественности и местных администраций. Федеральная власть практически не участвует в мемориализации памяти о терроре. Это не воспринимается как приоритетная государственная задача. Какую-то роль, вероятно, играет также желание уклониться от дополнительной легитимации болезненной темы.

Все скульптуры, часовенки, кресты, закладные камни увековечивают память о жертвах. Но в этой памяти нет образа преступления, нет и преступников. Есть жертвы — то ли стихийного бедствия, то ли какой-то иной катастрофы, источники и смысл которой остаются в массовом сознании непостижимыми.

В городах большинство этих памятников и памятных знаков стоит не на центральных площадях, а в отдалённых местах, там, где покоятся останки расстрелянных. При этом многие центральные улицы по-прежнему носят имена людей, прямо или косвенно к террору причастных. Совмещение сегодняшней городской топонимики, унаследованной от советской эпохи, и памяти о жертвах, унесённой на окраины, — вот наглядный образ состояния исторической памяти о сталинизме в России.

Книги памяти — одна из опорных точек памяти о сталинизме. Эти книги, издающиеся в большинстве регионов России, образуют сегодня библиотеку объёмом почти в 300 томов. В них содержится в общей сложности более полутора миллионов имён казнённых, приговорённых к лагерным срокам, депортированных. Это серьёзное достижение, особенно если вспомнить сложности доступа ко многим нашим архивам, хранящим материалы о терроре.

Однако эти книги почти не формируют национальную память. Во-первых, это

региональные книги, содержание каждой из которых по отдельности является собой не образ национальной катастрофы, а скорее, картину «местной» беды. С региональной раздробленностью корреспондирует методологический разнобой: у каждой Книги памяти свои источники, свои принципы отбора, свой объём и формат представления биографических данных. Причина этому — отсутствие единой государственной программы выпуска Книг памяти. Федеральная власть и здесь уклоняется от своего долга.

Во-вторых, это почти не публичная память: книги выходят крошечными тиражами и не всегда попадают даже в региональные библиотеки.

Память о сталинизме

Сейчас Международное общество «Мемориал» разместило в Интернете базу данных, которая объединяет данные Книг памяти, пополненные некоторыми данными МВД России, а также самого «Мемориала». Здесь более 2,7 млн. имён. В сравнении с масштабами советского террора, это очень мало, на составление полного списка, если работа будет продолжаться такими темпами, уйдёт ещё несколько десятилетий.

Музеи.

И здесь дела обстоят не так скверно, как можно было бы ожидать. Конечно, в России по-прежнему нет общенационального музея государственного террора, который мог бы сыграть важную роль в формировании образа террора в массовом сознании. Местных музеев, для которых тема террора была бы основной, меньше десяти. И всё-таки, по нашим данным, тема террора присутствует изредка в экспозициях, а в основном в фондах около 300 музеев, разбросанных по всей стране (это, главным образом, районные и городские краеведческие музеи). Однако общие проблемы памяти о терроре сказываются и здесь. В экспозициях тема лагерей и трудпосёлков чаще всего растворена в сюжетах, посвящённых индустриализации района, а собственно репрессии — аресты, приговоры, расстрелы — в биографических стендах и витринах. В целом террор представлен крайне фрагментарно и лишь условно вписан в историю страны.

Места памяти, связанные с террором.

Сегодня это в первую очередь места захоронений: массовые захоронения расстрелянных в период Большого террора и крупные лагерные кладбища. Но тайна, окутывавшая расстрелы, была столь велика, столь мало источников на эту тему удалось обнаружить, что на сегодня нам известно лишь около 100 мест захоронений расстрелянных 1937-1938 годов — по нашим подсчётам, меньше трети от общего числа. Пример: несмотря на многолетние усилия поисковых групп, не удаётся найти даже захоронения жертв знаменитых «кашкетинских расстрелов» около Кирпичного завода под Воркутой. Что же до лагерных

кладбищ, то мы знаем лишь считанные десятки из нескольких тысяч когда-то существовавших. В любом случае, кладбища — это опять-таки память о жертвах.

Местами памяти не становятся объекты инфраструктуры террора в городах — сохранившиеся здания областных и районных управлений ОГПУ/НКВД, здания тюрем, лагерные управления. Местами памяти почти не становятся объекты промышленности, возведённые трудом политзаключённых — каналы, железные дороги, шахты, заводы, комбинаты, дома. Очень просто было бы превратить их в места памяти — достаточно всего лишь повесить мемориальную доску у проходной завода или на железнодорожной станции.

Ещё один канал снабжения массового сознания историческими концепциями и образами — наиболее массовые формы бытования культуры, прежде всего, телевидение. Телевизионные передачи, посвящённые сталинской эпохе, довольно многочисленны и разнообразны, и гламурный просталинский китч, вроде сериала «Сталин-life», конкурирует на равных с талантливыми и вполне добросовестными экранизациями Шаламова и Солженицына. Телезритель может выбирать предпочтительные для него способы прочтения эпохи. Увы, судя по всему, доля тех, кто выбирает «Сталин-life» растёт, а тех, кто выбирает Шаламова — падает. Естественно: зритель, чьё актуальное мировоззрение формирует антизападная риторика и бесконечные заклинания телевизионных политологов о великой стране, которая со всех сторон окружена врагами, а внутри подрывается «пятой колонной», не нуждается в подсказках, чтобы выбрать для себя тот образ прошлого, который лучше всего соответствует этому мировоззрению. И никакими Шаламовыми-Солженицыными его не собьёшь.

Наконец, едва ли не самый важный институт конструирования коллективных представлений о прошлом — школьный курс истории. Здесь (а также в значительной части публицистических и документальных телепередач) государственная историческая политика, в отличие от многого, о чём говорилось выше, вполне активна. Её характер, впрочем, заставляет

задуматься над тем, что пассивность по отношению к исторической памяти не столь опасна, как использование истории в качестве инструмента политики.

В новых учебниках истории присутствует тема сталинизма как системного явления. Казалось бы, достижение. Но террор выступает там в качестве исторически детерминированного и безальтернативного инструмента решения государственных задач. Эта концепция не исключает сочувствия к жертвам Молоха истории, но категорически не допускает постановки вопроса о преступном характере террора и о субъекте этого преступления. Это не результат установки на идеализацию Сталина. Это естественное побочное следствие решения совсем другой задачи — утверждения идеи заведомой правоты государственной власти. Власть выше любых нравственных и юридических оценок. Она неподсудна по определению, ибо руководствуется государственными интересами, которые выше интересов человека и общества, выше морали и права. Государство право всегда — по крайней мере, до тех пор, пока справляется со своими врагами. Эта мысль пронизывает новые учебные пособия от начала и до конца, а не только там, где речь идёт о репрессиях.

Итого: как видно из всего сказанного выше, мы можем говорить о памяти раздробленной, фрагментарной, уходящей, вытесненной на периферию массового сознания. Память о сталинизме в том смысле, который мы вкладываем в эти слова, существует разве что в среде интеллигенции. Остаётся ли ещё у этой памяти шанс стать общенациональной, какие знания и какие ценности должны быть для этого усвоены массовым сознанием, что здесь надо делать — это предмет отдельного разговора. Ясно, что необходимы совместные усилия и общества, и государства. Ясно также, что историкам в этом процессе принадлежит особая роль, на них же падает и особая ответственность.